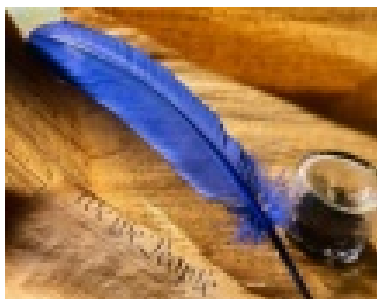


Таша КАПИТОЛИНИНА (г.Москва) **РУССКОЕ ПОЛЕ**



1

Он делает удивительных солдатиков эпохи Фридриха Великого, и мы разыгрываем небывалые сражения за выдуманные реки и волшебные горы. Он бы, наверное, всегда занимался только этим, но поскольку в конце лета я уезжаю, ему для компании волей-неволей приходится отправляться в университет и читать немцам лекции по их немецкой философии.

Зовут его дядя Якоб. Но я как в первый раз ошиблась, приняв немецкое Onkel (дядя) за имя, так и повелось — дядя Онкель.

Он безошибочно угадывает время моего приезда.

— А у меня для вас что-то есть, — всякий раз в день моего появления в Берлине говорит тетя, когда он по звонку открывает дверь.

Но он сразу присаживается на корточки, и, выскочив из-за двери, я неизменно попадаю в его объятия.

— Как ты догадался? — шепчу я ему в ухо.

Он кивает на люстру и произносит:

— Каждый раз я начинаю верить, что вечный двигатель в принципе возможен.

Я обдумываю это уже на ходу, обегая по периметру каждую из его пяти комнат.

С папой они познакомились «под Сталинградом».

— «В» Сталинграде, — поправляю я его русский.

Но он только качает головой.

После войны дядя Онкель с товарищами помогали нашей стране заново строиться, и тетя говорит, что их дома выдержат любой землетрус и всех нас переживут.

Больше всего дядя Онкель любит, когда я читаю ему Пушкина, «Золотого петушка». И конфеты эти он обожает. Я привожу ему их из Москвы в гостинец и с легким сердцем отказываюсь от угощения — я не люблю сою.

Вот я привскакиваю на одной ноге, изображая востепенувшегося спросонья петушка, прочищаю заспанное горло и неожиданно, вне пушкинского сценария, оглашаю квартиру жизнелюбивым воплем юного горниста:

— Ту-у-у, ту-ту-ту-у, ту-ту-у!

Дядя Онкель от удовольствия подпрыгивает в кресле и говорит мне, большим пальцем показывая вниз:

— Ну вот, теперь и Перельманы знают, что ты вернулась.

Днем мы ходим гулять по городу. Кружим целыми часами с перерывом на кафе-мороженое, и у дяди Онкеля припасена история о каждом мостике, дереве, стоявшем здесь когда-то каменном кайзере. Повезло немцам: курфюрства их маленькие, и цари какие-то домашние — можно потрогать за усы, за шляпу.

— Пусть-ка в Москве мне покажут наших царей, — вслух я завязываю узелок на память.

И осекаюсь, увидев указательный палец дяди Онкеля. Здесь, в Берлине, это просто какой-то знак беды. В первый раз его показал мне папа, когда 9 Мая, пробегая мимо их с дядей Онкелем застолья, я закричала:

— Папа, почему у вашего Чарли такая смешная фамилия: Капэпэ?

Папа поймал меня на лету за подол фланелевого платья, протер им свои в золотой оправе очки (это был наш с ним любимый обряд), поднял указательный палец и произнес:

— Секретик?

Моментально смекнув таинственную важность подоплеки, я кивнула и, отпущенная, понеслась дальше.

Папа уже знал, что мог быть спокоен.

Про Стену тоже говорить не полагалось. На прогулках мы никогда не подходили близко.

Я догадывалась, что за Стеной было Застенье. Долгое время именно оттуда являлись мои детские ночные тревоги, температурный бред всегда внезапных ангин, туда стягивались в болезненных фантазиях экипированные во что-то ядовито-колющее неумолимые силы подземного зла.

Навоображав невообразимое, ночью я иногда пугаюсь, сон отпрыгивает от меня, и, еще не зная молитв, я читаю по памяти услышанное от дяди Онкеля:

— Sie haben alle mude Munde

Und helle Seelen ohne Saum.

Und eine Sehnsucht (wie nach Sunde)

geht ihnen manchmal durch den Traum.

Fast gleichen sie einander alle;

In Gottes Garten schweigen sie,

Wie viele, viele Intervalle

In seiner Macht und Melodie.

Это Рильке. Это, похожее на речную гальку, имя, как и сами стихи, действует на меня успокаивающе, и я снова засыпаю.

Раза два-три я видела тетю на работе в роддоме, где, совершив свой обход, она просто для души купала своего очередного грудного немчика, а он кряхтел от удовольствия, и хрустел, и скрипел от чистоты, как тугой капустный лист.

Часто ей звонили и ночью. Тогда она оставляла меня на дядю Онкеля, но я узнавала об этом только утром, когда, бледная от бессонной ночи, она приходила будить меня и присаживалась на мой диванчик:

— Рапунцель, Рапунцель, проснись,

Спусти свои косоньки вниз!

Хотя чего уж там, этот проснувшийся маленький вулкан с каждой минутой пробуждения к жизни все меньше соответствовал созданному в ее мечтах романтическому образу.

Пару раз, уезжая до вечера за город, тетя также оставляла меня на дядю Онкеля. Мы предвкушали праздник Непослушания и заговорщицки подмигивали друг другу.

Но убедившись на горьком опыте, что я здесь «уже вполне освоилась», тетя однажды решила взять меня с собой.

— А как придем в поле, — наперед наставляет она меня, — рот не разевай. А то отберут красивое платье, дадут посконное да деревянные башмаки.

— Кто? — выдыхаю я.

— Узнаешь! Высыпят чечевицу да горох в золу, заставят выбирать. А не станешь — отдуют аршином.

— А я, а я...птиц позову!

— Как созовешь? — языка-то не знаешь.

— А я змеиного мяса отведаю и понимать стану. Они хорошее — так в горшочек, поплоше — в зобочек.

— Приставят к тебе трех баб: у одной ступня широкая, у другой губа нижняя толстая, у третьей — широкий большой палец. Станут воспитывать.

— А я возьму дырявый сапог да налью воды. Вода не прольется — они рот-то и раскроют. А я в лес убегу.

— А что есть-то в том лесу станешь?

— Встречу избушку из хлеба: крыша из пряников, окно из леденца.

— Ну съешь избушку, а дальше что?

— Брошу в колодец веретенце и прыгну следом. А не то сломя ветку, что первая зацепила меня по дороге, поплачу на нее. Зацветет она, вырастет и станет красивым деревом. Я наверх заберусь и тебя увижу.

Я прыгаю к тете на руки, и она вздыхает притворно: «Никуда от тебя не денешься».

Так мы вспоминаем гриммовские сказки, по которым тетя учит меня немецкому языку.

Завтра рано вставать на поезд. И я послушно засыпаю в надежде увидеть во сне гномов, карлов, сильван, гоблинов болотных. Кто-то размером с еловую шишку со спутанной, как гнездо, бородой и впрямь прошмыгнул перед закрытыми глазами. Вернулся, помахал пучком травы, отведая которой говоришь только правду, и скрылся.

Я улыбаюсь и засыпаю.

2

Дорогой обошлось без приключений — с меня уже взято клятвенное обещание чечетку

в U-bahn (в метро) не бить и «Лимончики» («одесский русский понимают все») не петь. Ну что поделаешь, милый дядя Леда Вейсбан?! Слово крепче гороха!

Первая утренняя электричка с Bahnhof Lichtenberg понесла нас навстречу едва-едва оторвавшемуся от земли малиновому шарiku. Как приклеенная, я смотрю в окно на веселые домики в пригороде Берлина, на верблюжьего цвета кирпичные дорожки, черепичные крыши, нарядные островерхие колпаки кирх.

Вот засквозил, набегая, буковый лес, и я пытаюсь понять, на что похожи эти деревья. То у них оливкового цвета осиновые стволы, то рябые березовые от сизого нароста губчатого лишайника. Вот они цапают землю корявыми осьминожьими щупальцами, а вот замерли в испуге от самих себя корнем мандрагоры. И я поспешно затыкаю уши, чтобы не быть застигнутой врасплох.

Потом враз побежали дубы.

Потом опять бучины.

Потом все впережку.

А потом мы уж и приехали.

Нам помогают выйти из поезда. Он чухает дальше, а мы остаемся на перроне одни.

Тетя тормозит меня, и мы вступаем на одну из этих оранжевых дорожек. Мне нравится скрипеть камешками и дробленой кирпичной крошкой под сандаликами. Я помахиваю желтым марлевым сачком и чувствую при каждом шаге легкие тычки термоса в рюкзаке за спиной.

— Захочешь снова «прогуляться» — поосторожней с крокодилами, — говорит тетя.

Я понимающе хмыкаю, но все же вопросительно смотрю на нее.

Она кивает в сторону идущего нам навстречу солнца.

— Солнце — это тепло, тепло — это юг, юг — это Африка, значит, чем ближе к солнцу, тем больше вероятности нарваться на крокодилов.

Я задумываюсь.

Мы поднимаемся в горушку, любуемся, как весело наша дорожка петляет на волнистом склоне, и вслед за нею ненадолго ныряем под кучерявые своды рощицы.

Радость птичьего утра обрушивается на нас. Мы переглядываемся и улыбаемся.

Хорошо так, что еще чуть-чуть и стало бы больно. Все струнки во мне натянуты.

— Постоим, — прошу я.

Это бывает так. Я смыкаю веки, перестаю думать и начинаю идти в рост. Я гигантский стебель и тянусь ввысь. Я самый отзывчивый в мире парус, переполненный до краев какой-то музыкой. Мне просторно и вместе чуточку тесно. Вот-вот я перельюсь.

— Пора, — зовет меня тетя.

Я открываю глаза и капельку медлю, чтобы привыкнуть к себе.

Мы вступаем на склон, ведущий к большому полю.

Справа на опушке белеет пирамидка какого-то обелиска, и я киваю в ту сторону.

— На обратном пути, — обещает тетя.

На краю поля мы оставляем вещи, и она дает мне костяной ножик. Я должна резать ромашки и только их. Одним ножичком только одни цветы. И ромашки режут только до обеда, пока роса.

А дальше... Дальше тетя делает вот что. Она раскапывает пальцем в земле ямку и зарывает монетку в одну марку. А сверху помечает это местечко печенинкой и сахарком из нашего завтрака.

Она опускает руки и обводит поле каким-то рассеянным и блуждающим взглядом.

Все замерло.

Я вижу, как ее уложенные коронкой косы излучают свет, и над головой загорается золотая тиара.

Вдруг раздается чей-то глубокий, берущий за душу голос. Он звучит, словно сразу отовсюду. И я не сразу понимаю, что это говорит тетя.

— Обращаюсь за помощью и поддержкой

Не прихоти ради, но по крайней надобе,

Не ради золота или серебра, но человека блага ради,

Не для славы-почести — они только ваши,

Но во исцеление страждущих.

Что вы даром даете, то я даром отдам.

Во славу Всевышнего и для вашей славы.

И все. Дальше она ждет. Я никого не вижу, но тоже чего-то жду.

Поле не колыхнется. Оно выстегано травянистым шелком до самого горизонта.

Ответом ей была тишина. Где-то вдали, должно быть, вспорхнули с гнезда птицы — легкая зыбь пробежала по изумрудной глади. И все. Опять ни звука.

Она вздыхает с облегчением.

— Вот и хорошо, — и даже жмурит глаза от удовольствия.

Не знаю, почему, но я верю ей на слово. Хорошо.

И вот теперь мы режем траву. Долго. Очень долго.

Но мне не лень. Нет, мне совсем не лень. Я кланяюсь и кланяюсь в пояс до земли. Иногда останавливаюсь, чтоб раздуть ромашкам их лохматые головки.

Я раскланиваюсь с цветами и, как зачарованная, смотрю на тетин полукруглый костяной ножичек. И вся она какая-то ладная и к месту пришлась: и кремовый с шитьем по подолу льняной сарафан, и покрытая кружевной косынкой голова, и белые с прилипшими от росы семенами и стебельковыми усиками ноги.

Тетя рассказывает о травах Солнца, Меркурия, Юпитера, Нептуна... Что нужно собирать на растущей Луне, а что на ущербной. Как одна и та же трава может помирить, а может развести и поссорить.

— Но есть день, — продолжает она, — когда трава бывает самой сильной.

— Вся-вся? — переспрашиваю я.

— Любая. В день самой короткой ночи — с двадцать первое на двадцать второе июня. В ночь на Ивана Купала.

Я зачарована. Я уже вижу, как лихие мужики и бабы в глухую полночь, сняв рубахи, до утренней зари роют коренья и ищут в заветных местах клады. Как цветет и кричит дурным голосом папоротник. Как деревья переходят с места на место, а потом ведут

свои разговоры, шурша и шелестя листьями.

Да, мне не лень. В этот самый сильный день в году я от души помогаю тебе, тетя.

Я всему верю и все примечаю. Время от времени я бегаю к оставленным на краю поля вещам, будто бы попить. А по правде я проверяю судьбу ее кому-то гостинца.

И в этот раз...Клянусь, это был он! Ну, мне так показалось — тот самый с бородой гнездом и в пыльной курточке цвета йода.

О, тетя, он цапнул твой фруктовый сахарок и печенинку! Проверить денежку я не посмела, но наверняка он высмотрел и ее!

Тетя гладит меня по голове — вот и хорошо, так и надо.

Я успокаиваюсь, но ворчать перестаю не сразу.

Когда становится жарко и роса высыхает даже у самых корней, мы наконец откладываем свои костяные серпики. Тетя бережно увязывает цветы под марлечку в свою корзинку и в мой рюкзачок, и мы бредем в тень, чтобы перекусить.

— Молодец, папина дочка, — вместо похвалы говорит тетя на ходу.

Если бы я устала чуть меньше, я бы, наверное, лопнула от удовольствия.

Мы раскладываем на яркой клетчатой салфетке нехитрую снедь: свежие огурчики,

помидоры, вареные яйца, ситный хлебушек и соль по-русски в спичечном коробке.

Нет, не зря мы сюда приехали. Не зря.

Потом я запиваю все кисло-сладким морсом из черносмородинового варенья, откидываюсь на спину и, раскинув руки-ноги, закрываю глаза.

3

Они появляются не сразу.

Да я какое-то время и не различаю их среди трепета листьев и птичьих свирелек. Так, будто показалось что-то.

Я поднимаю голову.

Тетя собирает цветы в большой пестрый букет, взбираясь на горушку, которую мы огибали по пути сюда.

Я решаю, что тоже нарву цветов, чтобы сплести венок. Поваляюсь еще немножко и сплету.

Какое-то время я провожаю взглядом причудливые сцепленья бесконечных облаков — караван за караваном, прежде чем, наконец, понимаю, что то, что я слышу, совсем не

птичьи голоса. Это — просто голоса.

Я резко сажусь. Я вижу, что мы здесь совершенно одни. Но мы — не одни. Я их слышу.

Вот, вот накатило по травяному морю прибоем и рассыпалось у самых ног:

— Ми-и-луй!

И еще раз так же нежно, как только наедине друг с другом:

— Ми-и-луй!

Я не успеваю удивиться, что они говорят на русском. Они, потому что следом раздается толстая глухая бархатная струна:

— Моя-я!

Совсем как на ушко:

— Моя-я!

Озираясь, я начинаю улыбаться. Но я ничего не понимаю.

Я снова растягиваюсь на траве, потому что догадываюсь, что так будет лучше слышно.

— А за-а-в-тра-а? — спрашивает она, и голос ее слегка клонит цветы. — За-а-в-тра-а?

Он мешкает с ответом, и я отчего-то напрягаюсь.

— На-всег-да-а-а! — отвечает он. — На-всег-да-а-а!

Я вздыхаю с облегчением.

Они медлят, и я боюсь пошевелиться, чтобы не быть обнаруженной.

— А ес-ли-и, — начинает и почему-то не договаривает она.

— Не-е-т, не-е-т, — раньше времени вступает он, — мы не-е ум-ре-е-м, так не-е бы-ва-а-ет!

— Да-а, да-а, — словно поправляет саму себя она.

— Ве-е-дь уже-е все-е, — успокаивает он.

— Ве-е-дь уже-е все-е, — как эхо подхватывает она.

— Мы про-рас-те-ем! — что-то и вовсе непонятное обещает он.

Тишина.

В животе у меня все замерло и стиснулось в кулачок.

И вот я еще не слышу, но уже чувствую рождение другого звука. Поначалу он похож всего лишь на комариный писк, но я с первой же секунды готова расчесать себя в кровь: я чувствую его враждебность каждой клеткой тела, каждой порой кожи, каждым солнечным зайчиком души.

Как-то вдруг я понимаю — так звучит Ужас.

Вот он, леший, уже не взынькает комариной самкой, а мучает слух скрипом мокрой волосатой пятерни по стеклу, и в следующую секунду наполняет уши дурным медноголосым протягом мартовского кота, и следом тянет полуобморочной пожарной сиреной, и заканчивает тем, что я раньше слышала только в кино о войне.

Я успеваю намертво вцепиться в траву и зажмуриться, и тут все вокруг встает дыбом. В голове у меня лопается, и я вплющиваюсь в землю.

Сверху что-то сыпется, чудом не задевая меня, а потом наступает оглушительная тишина.

Проходит Вечность. Другая.

Я ничего не чувствую. Не слышу. Не вижу. Не жду, что кто-то набредет на нашу корзинку и найдет меня, убитую.

Наконец кто-то заползает на мое лицо, топает к носу и пытается забраться внутрь.

Я оглушительно чихаю.

— Встань с земли, — раздается откуда-то издалека.

Я открываю глаза. Прямо передо мной, уже распустив слюдяные подкрылья, берет старт божья коровка. Вот маленьким зеленым складнем метнулась фрачистая саранча, и зависла в воздухе желто-серая пыльца какого-то ковылька.

Вот — солнце. Вот — небо. Вот — поле. Вот на горوشке — моя тетя.

А где — Ужас?

Я вскакиваю. Я больше не могу быть одна. Я бегу к тебе, тетя.

Запыхавшись как вычерпанная до дна, я бросаюсь к ней и утыкаюсь лицом в подол.

— Ну что? Ну что? — гладит она меня большой ладонью. — Устала? Едем домой.

Уговаривать меня не приходится. Я цепко держусь за тетину руку, так, что она даже начинает посмеиваться.

Я жмурюсь от белого солнечного одуванчика, вслед за тетей по щиколотку бреду по ленивой водичке. То и дело я отвечаю невпопад и неожиданно для себя смеюсь, когда смешно. Но внутри меня живет оно, новое, — маленькое черное горе.

— Что с тобой? — спрашивает тетя и поправляет на мне панамку.

Вместо ответа я строю гримаску и пожимаю плечами.

Мы пускаемся в обратный путь.

— Ты хотела взглянуть, — кивает в сторону обелиска тетя, когда мы проходим рожицу.

Я машинально соглашаюсь.

Необычного в этом памятнике только то, что здесь я еще такого не видела. Дома на родине фанерные, кирпичные — они на каждом кладбище.

Бесстрастно я приближаюсь к табличке, чтоб прочитать имена похороненных. Их двое.

— Тетя, русские! — восклицаю я, оборачиваясь.

Тетя присаживается на вкопанную скамеечку.

— Иван Нелидов, — громко, для нас обеих, читаю я, — октябрь двадцатого тире май сорок пятого!

Я снова оборачиваюсь. Тетя приладила на скамеечке букет и ловко подрезает, ровняя, стебли.

Я читаю дальше.

— Маргарита... а, — будто поперхнувшись, спотыкаюсь я, разглядев дальше свою фамилию. — Май двадцатого тире май сорок пятого.

— Тетя, — как-то вдруг и сразу понимаю я, — это ты?

Она, не глядя, коротко и молча кивает.

Потом достает прибранную за холмиком могилки небьющуюся банку, наливает воду и устанавливает букет прямо под табличкой.

Я не лезу с расспросами. Тетя тоже молчит.

— Прямое попадание, — наконец говорит она. — Может, это был последний за всю войну снаряд. Все думали, что от меня, кроме сапог, тоже ничего не осталось.

Вдруг тетя прижимает меня к себе. Она говорит, как-то понизив голос, словно рассказывает потаенную, заветную сказку.

— А я в тот день пораньше его встала. Раненых нет — пусть поспит. А я пока в деревне у фермера молока достану. Тепло-о. Рясный дождичек прошел. Так босиком и побежала.

Прибегаю с котелком в их немецкое хозяйство — что за оказия?! Ворота распахнуты, скотина по двору мыкается — недоеная, некормленная. Гляжу, сам хозяин из дома вываливается и ко мне. Губа трясется, руки мои ловит — целует, в ноги валится. Что за притча?

— А я, — усмехается тетя, — французский, английский знаю, а немецкий как-то не удосужилась. Как хочешь, так и выпутывайся.

Только слышу — стонут в доме. Ну, этих наших бабьих стонов я еще в больнице при институте наслушалась. И тащить меня не надо стало — сама понеслась.

Жена у него первым разродиться не могла. Ночь промучилась — и все на том же.

Тут уж я его погонять начала. Как мы понимали друг друга (снова улыбается тетя) — богу весть. Только дай бог каждому такого ассистента.

Доста-ло-о-сь... Мало сама не родила. А в голове нет-нет да высверлит: часть наша снимается, да чего уж там, снялась, поди, уже, и как я оправдываться буду?

Ну, подробности, за малолетством твоим, опустим, а пацан четыре кг на безмене вытянул. Сама видела.

Не то молоко — и котелок-то я там оставила. Неслась так, что любо-дорого со стороны посмотреть.

И поспела... Аккурат на свои похороны... Это уж я не дала табличку снять — и вправду все во мне тогда вместе с ним умерло. Все никак понять не могла: вот она, Победа, а его нет и нет.

Все искала причину здесь задержаться, а потом и насовсем осталась. Если правда, что снаряд дважды в одно место не бьет, значит, теперь и вовсе не умру. Это здесь я его вдвое старше, а там мы вровень.

— Зато теперь я и немецкий знаю, — и тетя целует меня в затылок.

И вдруг я понимаю, что мне перестало быть страшно, что во мне нет этого черного, чужого и враждебного, как на поводке угнетенно волокущего меня. Я потихоньку потягиваю в себя воздух и чувствую, как по-прежнему наполняюсь светящим и мерцающим светом беспричинной радости. И я обнимаю тебя, всем своим неискушенным сердцем запечатлеваясь в твоей распахнутой душе.

— Ну слава богу! — говоришь ты, — а я уж подумала, не заболела ли моя девочка? А как вернемся, букетиков навяжем, сушить повесим — видела в кладовочке?

Я киваю.

— Всему свое время. Все поймешь. Время придет, и все поймешь...

Крепко обняв тебя за шею, я киваю. Мне впервые так радостно раствориться в чужой воле, и я киваю, киваю...

4

Верили тете безоговорочно, потому что она оправдывала доверие. Она рассылала во все концы Германии потерявшим всякую надежду женщинам крошечные посылки со своим травяным сбором. А спустя положенное время к ней летели розовые, голубые веселые конверты, из которых вместе с листочками незатейливых, в счастье своем похожих одно на другое писем, выпархивали фотокарточки как на подбор голых улыбчивых карапузов. Курт, Гензель, Гретхен... Имена у этих ангелов тоже были

немецкие.

Nur wenn sie ihre Flügel breiten,

Sind sie die Wecker eines Winds:

Als ginge Gott mit seinen weiten

Bildhauerhanden durch die Seiten

Im dunklen Buch des Anbeginns.

Ты была права, тетя. Это время пришло.

Каждое лето, оказавшись далеко за городом, я набираю без разбору большой букет полевых цветов — чем незнакомей, тем милей и краше.

Потом, оставшись в квартире одна, я закрываю глаза, зарываюсь в него лицом, чтоб в забытьи, улучив минутку, никем не замеченной, по-прежнему, не держась за поручень, взлететь по знакомой до последней щербинки почти вертикальной чердачной лестнице, пробежать по пружинящей под ногами доске настила к слуховому окну и замереть в ожидании.

И когда все от тебя уйдет, все в тебе уляжется и стихнет, распахнется и откроется, ты услышишь сначала, как весело пощелкивают пергаментные коробочки развешанной травы, как сыпется сухая
ышиная

М

дробь переспевших семян, а
уж потом то самое,
свое заветное.

Я и теперь это слышу:

Рапунцель, Рапунцель, проснись,

Спусти свои косоньки вниз...

Ангелы

У них у всех уста устали,

И души досветла ясны.

И лишь случайные печали

Порою им смущают сны.

Они как будто не у дела,

И, Божий населяя сад,

Они, как мерные пробелы,

В его мелодии молчат.

Но стоит крыльям их раскрыться,

Разбудит ветер все края,

Так Бог перелистнуть стремится

Рукою скульптора страницу

Неясной книги бытия.

Райнер Мария Рильке (*перевод Вячеслава Куприянова*)